

литературное
НОВОИ
обозрение

№ 125 (2014)

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ, КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Редакция

Ирина Прохорова (главный редактор)
Дмитрий Харитонов (история)
Николай Поселягин (теория)
Александр Скидан (практика)
Абрам Рейтблат (библиография)
Владислав Третьяков (библиография)
Кирилл Корчагин (хроника научной жизни)

Редколлегия

Константин Азадовский (Петербург)
Хенрик Баран (Олбани, Нью-Йорк)
Николай Богомолов (Москва)
Татьяна Венедиктова (Москва)
Томаш Гланц (Прага)
Ханс Ульрих Гумбрехт (Стенфорд)
Борис Дубин (Москва)
Александр Жолковский (Лос-Анджелес)
Андрей Зорин (Оксфорд / Москва)
Александр Лавров (Петербург)
Джон Малмстад (Кембридж, Массачусетс)
Александр Ошоват (Москва / Лос-Анджелес)
Пекка Песонен (Хельсинки)
Олег Проскурин (Москва)
Роман Тименчик (Иерусалим)
Евгений Тоддес (Рига)
Александр Эткинд (Кембридж / Петербург)
Михаил Ямпольский (Нью-Йорк)

IN MEMORIAM

ВИКТОР МАРКОВИЧ ЖИВОВ

05.02.1945, Москва — 17.04.2013, Беркли



Октябрь 2012 года, МГУ.
Фото Дмитрия Сичинавы

С. А. Иванов, А. М. Молдован

ТАЛАНТ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАДОСТЬ ЖИЗНИ

По словам Ольги Матич, за несколько часов до смерти Витя Живов сказал, что главное в жизни — научиться сочетать чувство ответственности с непре-
станным ощущением радости. Ему самому это всегда удавалось в полной мере.

Научные интересы В.М. были естественным продолжением его ненасыт-
ной любознательности. Она вела его своим путем, открывая заманчивые дали
там, где раньше виделся тупик. Его эрудиция казалась безграничной. Его ре-
плики в дискуссиях (а В.М. почти всегда выступал при обсуждении тех до-
кладов, на которые приходил) нередко начинались словами: «Я этим немного
занимался». В самом деле — вдруг оказывалось, что В.М. и этим занимался!
Да не просто занимался — там всегда был собран и освоен новый материал, и
из его «тяжести недоброй» созданы увлекательные построения, запечатлен-
ные в статьях и книгах. В.М. интересовался самыми разнообразными вопро-
сами, касающимися русского языка, древнерусской письменности, русской
литературы разных эпох, истории византийской и русской культуры, русской
церковной истории. На каждую из этих тем написаны горы научных книг. Но
монографии и статьи Живова неизменно выделяются на этом пейзаже, пере-
страивая его перспективу.

Первые публикации Живова (он начал печататься в 22 года) были посвя-
щены лингвистической типологии. В 1977 году он защитил кандидатскую дис-
сертацию «Типологический анализ синтагматического функционирования
признака звонкости», а в 1980 году вышла монография «Очерки по синтагма-
тической фонологии: Признак звонкости»¹. С самого начала у него обозначи-
лись и общекультурные интересы. В 1973 году в тартуском «Сборнике статей
по вторичным моделирующим системам» (где же еще было публиковаться то-
гда интеллигентному человеку?) вышла его статья «Сакральные образы в рус-
ской поэзии». И в том же году, чего тогда никто не знал, В.М. под псевдонимом
И. Тропинин опубликовался в тамиздатском парижском сборнике «Август
Четырнадцатого читают на Родине». Читателю моложе пятидесяти лет не-
возможно даже представить себе, сколько храбрости требовалось, чтобы хоть
в какой-нибудь форме связать свое имя с проклинаемым всей государствен-
ной пропагандистской машиной «литературным власовцем» Солженицыным.
Но Живов много лет ходил по краю, не впадая в открытое диссидентство, но
и не скрывая своей дружбы с Натальей Солженицыной, Габриэлем Суперфи-
ном, Натальей Горбаневской и особенно Вадимом Борисовым. В результате
вплоть до 1988 года он оставался совершенно «невыездным».

Еще дважды, в 1978 и 1979 годах, Живов печатался в тамиздатском «Вест-
нике русского христианского движения». Здесь — та грань, где нелегальное
пересекается с полулегальным (советская действительность была многолож-
на): В.М. сотрудничал с Московской патриархией, делая для нее переводы
научно-религиозной литературы с западных языков. В частности, перевел мо-
нографию Иоанна Мейендорфа о Григории Паламе. Этот машинописный пе-
ревод был формой «самиздата» — когда в 90-х его решили опубликовать, то
ни одного экземпляра так и не смогли найти. Именно с тех времен пошла у но-

1 Библиографические описания упоминаемых здесь трудов
см. в списке избранных работ В.М. Живова. — *Примеч. ред.*

воображенной интеллигенции мода на «исихазм», с академическими последствиями которой потом сам же В.М. яростно сражался («Видения света и проблемы русского средневекового исихазма» (2011)). А для Живова работа с книгой Мейендорфа послужила толчком для собственных научных рефлексий, которые вели уж вовсе в сторону от лингвистики. Результатом стали статьи «“Мистагогия” Максима Исповедника и развитие византийской теории образа», «Влияние и система культуры: Проблема традиций в иконоборческих спорах» (обе — 1982) и «Иконоборческие споры и мнемотехническая традиция античной школы» (1988). К огорчению некоторых весьма просвещенных богословов, эти опыты остались изолированными в научном творчестве Живова, и лишь много лет спустя, в 1994 году, он опубликовал для широкой публики маленький, но невероятно емкий и дельный словарь «Святость». Разумеется, религиозные штудии В.М. были связаны с его глубоко личными переживаниями, но одновременно и с жадным интересом к философии — эта особенность резко выделяла его из круга коллег. Чего стоят, например, такие его работы, как «Grammatica sub specie theologiae» (1986), «Логика как проблема истории», «Вехи русской духовности: вершины и надрывы» (обе — 1988), «О сомнительном и недостоверном в историософии Н.А. Бердяева» (1992), «Апология Герцена в феноменологическом исполнении» (2005).

Однако вернемся к магистральной стезе В.М. Находясь в среде лингвистов — самого передового на тот момент отряда гуманитариев, — Живов естественным образом примкнул к направлению, которое в наши дни именуется Московско-тартуской школой. Начиная с 1973 года он участвовал в организации и проведении тартуских конференций по семиотике, много писал в соавторстве с Б.А. Успенским (вплоть до 1996 года). В те годы на филологическом факультете МГУ Успенским и В.М. был организован знаменитый семинар по истории русского литературного языка и проблемам отечественной культурной истории, связанным с его развитием. Этот семинар, ставший важной частью московской научной жизни, оказался весьма плодотворным не только для студентов и аспирантов, но и для его руководителей. Оглядываясь на этот период, Живов замечал: «Лотман и Успенский (а по их стопам и автор этих строк) были заняты культурной историей; в их работах исторический материал продолжал (как теперь кажется, с совсем не нужной жесткостью) описываться с помощью бинарных оппозиций»². Живову как лингвисту было естественно применять структурные методы даже и к неязыковым сферам (ср.: «Опыт формального членения новеллы» (1974)), однако чем дальше, тем острее В.М. ощущал, что историко-культурный материал сопротивляется сциентистскому ригоризму. Позднее он признался: «Модели языка в их структуралистском понимании довольно скоро стали мне казаться ключом, который ничего не отпирает»³. Видимо, как раз глубокая философская перспектива и позволила Живову легко перерасти структурализм именно как философию, о чем он позднее скажет в написанной совместно с А. Тимберлейком программной статье «Расставаясь со структурализмом» (1997) и замечательной работе «Московско-тартуская семиотика: ее достижения и ее ограничения» (2009).

Значимой частью жизни В.М. в 1970-е годы были дружеская переписка и сотрудничество с А.В. Исаченко, издававшим журнал «Russian Linguistics»,

2 Живов В.М. Московско-тартуская семиотика: ее достижения и ее ограничения // НЛО. 2009. № 98. С. 11–26.

3 Из предисловия Живова к его книге «Разыскания в области истории и предыстории русской культуры» (М.: Языки славянской культуры, 2002).

который много лет был единственным в мире международным лингвистическим журналом по русистике. Видя, с какой самоотверженной страстью Исаченко ведет журнал, откликаясь рецензиями не только на книги, но и на отдельные статьи, В.М. счел своим долгом внести собственный вклад в эту деятельность. В течение нескольких лет он по просьбе Исаченко писал для журнала подробные обзоры статей по фонетике русских говоров. Потом сюжеты переписки стали расширяться, касаясь не только проблем литературной фонетики и истории русского языка, но и затхлой атмосферы в советской науке, придавленной идеологическими догмами⁴.

1980-е годы принесли новые темы. Чисто языковедческие сюжеты стали у Живова все чаще сменяться культурологическими: «Копуштенная поэзия в системе русской культуры конца XVIII — начала XIX века» (1981), «Метаморфозы античного язычества в истории русской культуры XVII—XVIII вв.» (1984) и т.д. Поворот от синхронии к диахронии, повлекший разочарование в структурализме, естественно вел ученого к исследованию не только истории языка, но и его культурного функционирования.

Важнейшим результатом этого периода стала монография «Культурные конфликты в истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века» (1985), которая в течение пяти лет не допускалась к печати и увидела свет лишь в 1990 году. На материале этой книги в 1992 году Живов защитил докторскую диссертацию «Лингвистические теории и языковая практика в истории русского литературного языка восемнадцатого века»; оппонентами на защите выступили три академика — Н.И. Толстой, А.М. Панченко и Д.Н. Шмелев. Существенно расширенный и переработанный вариант книги был потом издан под названием «Язык и культура в России XVIII века» (1996). В ней Живов выдвинул оригинальную концепцию развития русского литературного языка, показав, как динамика этого развития зависела от взаимодействия разных регистров письменного языка, соотнесенных с разными коммуникативными ситуациями, и как русские теории языкового строительства диалектически взаимодействовали с языковой практикой. Эта новая концепция позволила снять те проблемы, которые оставались не решенными в более ранних построениях самого Живова, основанных на модели церковнославянско-русской диглоссии — само понятие диглоссии было им поставлено под сомнение в ряду других отвергнутых «бинарных моделей».

Разработка этой концепции, в частности, потребовала от В.М. сосредоточиться на проблемах преемственности культурного языка, а это, в свою очередь, привлекло его внимание к вопросу о том, какую роль в таком процессе играла морфологическая вариативность. Традиционная модель искала истоки древнерусского литературного языка, грубо говоря, в двух источниках — «славянской» письменной традиции и «русском» языке книжников. Реконструкция древнерусского письменного узуса давала не слишком убедительную картину того, как этот узус, по выражению Живова, «блошиным скоком перемещается от одной системы к другой, вставляя “славянизмы” в продукт “русской” системы или, напротив, вставляя “русизмы” в продукт системы церковнославянской»⁵. В.М. стал изучать морфологические варианты в их связи

4 Живов В.М. Венки на могилу Александра Васильевича Исаченко. К столетию со дня рождения: Письма А.В. Исаченко В.М. Живову // Русский язык в научном освещении. 2011. № 2 (22). С. 268—304.

5 Живов В.М. Очерки исторической морфологии русского языка XVII—XVIII веков. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 17.



Лето 2006 года, Великий Новгород.
Фото Елены Гришиной

с типическими коммуникативными ситуациями и соотнесенными с ними регистрами языка. Результатом титанической работы по сбору материала и анализу употребления вариантов именных и глагольных форм в разнообразных текстах XVII–XVIII веков стала фундаментальная монография «Очерки исторической морфологии русского языка XVII–XVIII веков» (2004).

В близкой связи с этой проблематикой были публикации В.М., посвященные восточнославянской орфографии⁶. Здесь Живов развивал концепцию Н.Н. Дурново, согласно которой правописная практика определяется орфографической системой писца, а не написаниями оригинала, который он копирует, или его собственным живым произношением. Статьи В.М. посвящены выяснению того, как и за счет чего формируется орфографическая система писца.

Такая кропотливая работа была характерна для Живова, умевшего ценить не только изящные построения и прозрения, но и педантичность при разборе завалов. Он отважно набрасывался на них, «из мелкой сволочи вербуя рать». В.М. сам любил сравнивать свой труд с расчисткой заброшенной делянки. Позиция, которую он усвоил себе в научном сообществе, воплощала мораль вольтеровского старца, возделывающего свой сад. Только хрестоматийный образ, скучноватый в своей аутентичной назидательности, обрел у В.М. множество игровых продолжений, в которых узнавались черты русских юродствующих старцев, весело и уверенно одолевающих в каждодневном труде бесовские соблазны.

⁶ Собраны в книге В.М. «Восточнославянское правописание XI–XIII века» (М.: Языки славянской культуры, 2006).

Одновременно В.М. занимался историей духовной культуры России. Эти исследования легли в основу его монографии «Разыскания в области истории и предистории русской культуры» (2002). Еще в 1970–1980-е годы его интересовали конфликты между светской и церковной властью Петровской эпохи и их широкий контекст. Позднее он публикует небольшую, но очень важную книгу «Из церковной истории времен Петра Великого: Исследования и материалы» (2004), в центре которой — противостояние Стефана Яворского и царя-реформатора. Книгу сопровождает подготовленное с лингвистической тщательностью издание документов эпохи, в частности знаменитой проповеди Стефана Яворского в день св. Алексия человека Божия.

В истории русской литературы В.М. больше всего интересовался литературой XVIII века, хотя ему принадлежат и статья о жанровых характеристиках агиографических сочинений в Киевской Руси, и работа о типологии барокко в русской литературе XVII — начала XVIII века. Анализируя памятники XVIII века, Живов останавливался на таких проблемах, как рецепция спора о древних и новых в русской литературе, построение первых русских литературных биографий (Тредиаковского, Ломоносова и Сумарокова), журналистская деятельность Екатерины Великой в контексте ее политики, кощунственная поэзия и история понимания поэтического творчества.

Чем дальше, тем глубже Живов входил в проблематику византийско-русского культурного взаимодействия. Покажем на примере одной из первых работ этого направления, как развивалась исследовательская мысль В.М. В статье «История русского права как лингвосемиотическая проблема» (1988) он утверждал, что принесенные на Русь обширные юридические кодексы воспринимались киевлянами не как реальный источник права, а просто как часть статусного текстового пласта, тогда как реальное право черпалось совсем из других, местных источников. Против этого построения восстал не кто иной, как главный мэтр в области изучения византийского права Людвиг Бургманн, основатель целой научной школы во Франкфурте. Западные коллеги редко читают по-русски, однако Бургманн не только внимательно прочел, но и ответил большой статьёй, исполненной, как казалось, испепеляющей критикой⁷. Однако Живов блестяще парировал все его доводы⁸. В результате крупнейший специалист по письменной культуре Древней Руси Саймон Франклин, первоначально солидаризировавшийся с Бургманном⁹, признал, что В.М. удалось его переубедить. Живов писал на эти темы и дальше («Юридические кодексы и режим интерпретации» (2008)).

Та полемика дала начало целому направлению в научном творчестве В.М. — развенчанию идеи «трансплантации» византийской культуры на Русь. Этот постулат развивал в первую очередь академик Д.С. Лихачев. В условиях советской цензуры таким способом удавалось косвенно реабилитировать религиозную тематику, но, когда повеяли ветры перемен, Лихачев был официально провозглашен светочем духовности, а церковь восстановлена в правах, тогда появилась возможность разговаривать на эти темы без учета экстрана-

7 *Burgmann L. Zwei Sprachen — zwei Rechte: Zu einem Versuch seiner linguo-semiotischen Beschreibung der Geschichte der russischen Rechts // Rechtshistorisches Journal. 1992. Bd. 11. S. 103–122.*

8 *Живов В.М. Разыскания в области истории и предистории русской культуры. С. 291–305.*

9 *Franklin S. Writing, Society and Culture in Early Rus. c. 950–1300. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. P. 142–143, fn. 55.*

учных факторов. И вот тут В.М. счел себя вправе выступить против теории, которая усилиями лихачевских эпигонов уже превратилась в самодовольную аксиому. Живов писал:

...Ни о каком сходстве византийской и русской культуры говорить не приходится; тем более невозможно говорить о тождестве. Культура Киевской Руси не повторяет и не трансплантирует современную ей византийскую культуру, а усваивает один ее изолированный фрагмент и даже в этом фрагменте существенным образом переставляет смысловые акценты¹⁰.

Эти выводы имеют весьма важные последствия для изучения древнерусской письменной культуры: система жанров, которая выстраивалась учеными применительно к Руси с оглядкой на византийскую литературу, оказалась совершенно, принципиально иной, да и вся картина литературного процесса на Руси предстала в новом свете.

Во второй половине «нулевых» годов В.М. был захвачен идеей написать книгу «Русский грех и русское спасение». К этой теме с разных сторон подступают такие его работы, как «Из истории слов: Греховодник» (2006), «Император Траян, девица Фальконилла и провонявший монах: их приключения в России XVIII в.» (2008), «Покаянная дисциплина и индивидуальное благочестие в истории русского православия» (2009), «Дисциплинарная революция и борьба с суевериями в России XVIII века: “провалы” и их последствия» (2009), «Несколько дополнительных заметок к статье Б.А. Успенского “Право и религия в Московской Руси”» (2010), «Между раем и адом: Кто и зачем оказывался там в Московской Руси XVI века» (2010). Как всегда невероятно смелая, концепция Живова была по самому главному в мифе национальной исключительности — концепции «Святой Руси». По мысли В.М., наши предки имели весьма странное представление о грехе, покаянии и спасении души: обрести рай можно было случайно, «дуриком», «с черного хода» или попросту всем вместе — для этого не требовалось ни малейшей душевной работы, никакого перестраивания себя. В этом была и симпатичная сторона — ровно это попустительское отношение спасло Русь от таких эксцессов «религиозного дисциплинирования», как, например, сжигание ведьм, и наоборот — привело к восприятию любого душегуба как несчастной жертвы обстоятельств. Но в целом, хочет сказать Живов, именно здесь и по сей день коренится проблема с утверждением в умах верховенства права и «достижительных» ценностей. Хорошо было бы издать эти работы и сохранившиеся наброски к книге как единое целое.

В последние два года жизни В.М. отодвинул в сторону все проекты, чтобы наконец закончить начатый много лет назад огромный труд по истории русского литературного языка. И прежде чем смерть настигла его, он успел подарить нам этот выдающийся памятник научной мысли, который будет опубликован, его будут читать и о нем спорить поколения исследователей. Рукопись закончена и практически отредактирована — автор занимался этим в буквальном смысле до последних часов своей жизни.

В 90-х годах многие наши научные светила отправились преподавать за границу. Однако статус, которого добился для себя Живов, не имел прецедента: он стал полноправным берклийским профессором, ни на миг не оставяя своих обязанностей заместителя директора академического Института

10 Живов В.М. Особенности рецепции византийской культуры в Древней Руси // Живов В.М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. С. 82.

русского языка им. В.В. Виноградова. Иные продолжали номинально где-то числиться, но приезжали в Россию лишь на каникулы — а вот В.М. административно делил свою жизнь строго на две части, и ни одна не была главнее другой. Это бюрократическое чудо знаковым образом передавало положение Живова в Науке в целом: он жадно и умно впитывал в себя новинки западной науки — с тем чтобы изящно и изобретательно применить их к своему материалу. Например, любые разговоры о «дисциплинарной революции» велись на Западе исключительно в контексте противостояния католицизма и протестантизма, а вот В.М. использовал этот понятийный аппарат для анализа православной традиции. Другое дело, что Живов улавливал лишь то, что казалось ему резонным: мода на академический постмодернизм его не удовлетворяла. «Я тоже постмодернист, но надо же и честь знать!» — говорил он. В.М. деконструировал устоявшиеся научные мифы не из желания все поломать (хотя бойцовский задор тоже не нужно сбрасывать со счетов!), а по глубокой убежденности, что потом, когда обветшавшие шоры отправятся на помойку, при внимательном и любовном всматривании в материал тот откроет свою глубинную, истинную суть. Пламенная вера в наличие такой сути и азартное стремление до нее докопаться составляли основу его научной личности.

Живя между Россией и Западом, печатаясь повсюду и на разных языках, всеми силами стараясь привить отечественной науке лучшие черты науки зарубежной, в своих работах нарочито приводя цитаты из западных ученых в оригинале, без всякого перевода, В.М. при всем этом не был западником в традиционном смысле этого слова. Живов не «стеснялся» России — он просто изо всех сил пытался сделать ее лучше. Точно так же В.М. не стеснялся своего православия перед друзьями-атеистами — просто именно оно гнало его на процесс над «Pussy Riot», болеть за арестованных девушек. Его мерило было в нем самом, и его внутренний камертон не давал сбоев. Космополитизм Живова не отнимал ни грана от его глубинной русскости, наоборот — подчеркивал ее. Он страстно любил дегустировать граппу в Италии — но с такой же нежностью относился к собиранию грибов на даче под Тарусой. Он гордился, когда его звали читать лекцию в Стэнфорд, — но с не меньшим азартом ехал в Думу дискутировать о законе о языке или на телевидение — бодаться с очередным шарлатаном.

Он был совсем ни на кого не похож. Лучше всего о нем говорят сохранившиеся в Сети его выступления, лекции, интервью, телепередачи. Он там такой узнаваемый, со всеми его словечками, жестами, поворотами головы, выражением глаз, особым произношением звука «л» — всем тем, что так памятно знавшим его. И совершенно невозможно поверить, что это оборвалось, что этого больше не будет. Он же и раньше каждый год исчезал, надолго уезжая в Беркли, — но потом всегда появлялся опять. Двадцать раз так повторялось — и не повторится больше никогда.

А единственное, что остается, это частичка его жизнерадостности где-то глубоко внутри нас.

Марина Бобрик

ОБРЕТЕННАЯ СВОБОДА МЫСЛИ

«Ну что скажете?» — этим вопросом В.М. всегда начинал разговор. По телефону — короткий, обычно он звал прийти. Проводил по длинному коридору сначала налево в кабинет — говорить о рабочем, насущном, моем учебном, — а потом вел за стол в кухню, где было средоточие домашней жизни и нас всегда встречала Мария Константиновна. Дом на Казакова — это то место, с которым прежде любого другого у меня связан образ В.М. и общение с ним. И теперь кажется неслучайным, что первой книжкой, которую В.М. дал мне читать, было «The Art of Memory» Фрэнсис Йейтс. Тогда он давал ее просто как хорошую книжку, которую любил, в которой видел близкий ему взгляд на историю культуры, но сейчас в ретроспективе этот жест видится мне приглашением в «театр памяти», где слова и мысли связаны с определенными локусами пространства.

Мир квартиры на Казакова, в особенности тогда, в 80-е, студенческие и аспирантские годы, был для меня не меньшим волшебством, чем остров в шекспировской «Буре» (которую В.М. любил). В этом доме все было совсем не так, как в выросившей меня среде, да и в большей части тогдашней жизни, и я с готовностью погрузилась в теплую волну доброжелательности и понимания. Здесь и жила история русского языка и культуры — предмет моих занятий у В.М., и весь жизненный и речевой уклад трех поколений этой семьи, их отношения между собой с самого начала стали для меня бесценной школой. Это было обучение методом погружения.

В последующие годы, когда я в каждый свой московский приезд бывала на Казакова, возвращение острее всего ощущалось именно там. Но и теперь мне есть куда прийти, чтобы припомнить лежащие здесь на всем во много слоев тени В.М. и его разговоров — и вот тут у полки с летописями, и у оттоманки, где когда-то прятали «Архипелаг», и в кухне слева у окна он — с чайным стаканом в руке, и в коридоре — скорыми легкими шагами навстречу гостю...

Пишет ли В.М. об Иване Сусанине и Петре Первом, об экспансии флексии *-ами* или о понятии обожения — авторский голос всегда узнаваем. Индивидуален его взгляд на вещи и сам выбор вещей. В этом смысле формулу, найденную им для Фуко, — «не метод, а способ мысли»¹ — *mutatis mutandis* можно применить и к самому В.М. Метод, пояснял он, можно приложить к произвольно выбранному предмету — способ мысли сам выбирает себе предмет. Мысль В.М. была направлена на то, чтобы понять механизмы возникновения и исчезновения культурных эпох, уловить социальную природу этих механизмов, понять, каким образом порождается органичный для той или иной культуры язык и как он, исчерпавшись, исчезает вместе с нею. Его понимание истории культуры как «динамической вербальной деятельности»² — это гибкая конструкция с подвижным метаязыком. И почти как автохарактеристика звучат слова, написанные В.М. о важной для него в славис-

1 Живов В.М. Что делать с Фуко, занимаясь русской историей? // НЛО. 2001. № 49. С. 85.

2 См.: Живов В.М. История понятий, история культуры, история общества // Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени / Под ред. В.М. Живова. М.: Языки славянских культур, 2009. С. 5–26.

тике фигуре: «<...> Дурново был открыт для новых идей, усваивал их критически и плодотворно, и эта интеллектуальная подвижность сообщает его трудам притягательную силу живой науки»³. Вероятно, именно внутреннее единство способа мысли, языка и, в конечном итоге, личности В.М. дает ощущение органической взаимосвязанности всего им сделанного и написанного. Все вместе это — опыт о человеке и его социально-языковых отношениях. В этом смысле творчество В.М. глубоко гуманистично, или — как он сам бы сказал — *человеколюбиво*.

Индивидуален и узнаваем был и язык В.М. Имею в виду не только метаязык, терминологию, но и его обиходную речь, *basso continuo* которой оставались семейные языковые традиции Живовых и Поливановых: «Я <...> стараюсь говорить так, как говорил мой дедушка»⁴. Консерватизм в его исполнении отнюдь не означал антикварности или даже старомодности, а его *шэръ* и *жэра* были индивидуальной приметой речи, лишенной всякой манерности. В то же время В.М. был открыт заимствованиям, если они отвечали его намерению (вспомним его «петровский *пул*»). Раздражение вызывала у него, пожалуй, лишь искусственность, в частности гримасы олбанского языка. Речь В.М. была образцом здравого смысла и вкуса, по удачному определению А. Ярина: «Ясная мысль, чистый язык. Чистая мысль, ясный язык».

Незахламленное, упорядоченное, хорошо проветренное пространство его личного узуса было удачной площадкой для наблюдений и над историей языка, и над его современным состоянием. Открывая множественную систему регистров в письменном языке русского средневековья, В.М. опирался не на абстрактные модели и не на типологические аналогии, но прежде всего на свой языковой опыт человека, живущего в русской языковой среде. Владение разными регистрами языка было для него больше, чем только насущной потребностью языкового быта, — это было органической потребностью его мысли. Для каждой стороны своих интересов он умел находить оптимальную площадку и на каждой из них — в Институте русского языка, в «НЛО», в Беркли — пользоваться принятым в данном сообществе языком и безошибочно попадать в тон. Неуместное слово или ложная интонация вызывали у В.М. легкую гримасу страдания — как от фальшивой ноты. Ему было дано чутко слышать и шум времени, и человеческую речь.

В.М. — один из немногих, кто умел говорить о вере и христианской духовности прямо и здраво, без деревянного масла (не случайно ему был близок владевший этим даром владыка Антоний Блум). С поразительным чувством меры ему удавалось дозировать юмористические ремарки и иронию в «благочестивых» сюжетах — улыбкой он не обходил ни монаха, ни святого. Он мог себе эту улыбку позволить — благодаря своему безошибочному чувству границ человеческого и дару понимания. Улыбку мудреца.

В 90-е годы, когда прерванная духовная традиция стала восстанавливаться, ближе всего для В.М. оказалась роль медиатора. Вместе с Н.И. Тол-

3 Живов В.М. Н.Н. Дурново и его идеи в области славянского исторического языкознания // Дурново Н.Н. Избранные работы по истории русского языка. М.: Языки русской культуры, 2000. С. XIX.

4 Живов В.М. Будем консерваторами: [Интервью с М. Божович] // Ведомости. 2009. 11 сентября (www.vedomosti.ru/friday/article/2009/09/11/15025 (дата обращения: 27.12.2013)).

стым он поддержал публикацию практического курса церковнославянского языка своих учеников А.Г. Кравецкого и А.А. Плетневой⁵ и написал для этого издания краткий исторический очерк о церковнославянском языке. А его словарь «Святость»⁶, возникший из «отходов» несостоявшегося издания трудов Г.П. Федотова, остается единственным в своем роде научно-популярным опытом и одновременно культурно-посредническим жестом. В этой тоненькой книжке В.М. берет на себя труд объяснить и раскрыть в исторической перспективе простейшие понятия, общеизвестные в дореволюционной традиции, но утратившие ясность для нынешнего читателя. Лучшего введения в агиологию и агиографию на русском языке нет.

«Историческая чувствительность» В.М. ярче всего проявилась в эпоху перемен конца 80-х — начала 90-х годов, которую он ощутил как момент поворота и освобождения мысли. Хлынул свежий воздух, и гуманитарная наука переживала, по словам В.М., время «счастья» и «восторга бытия». «Первой и главной его составляющей была свобода»⁷. Характерным образом выход из принудительного пространства советской эпохи обернулся для В.М. «расставанием со структуриализмом». Нагляднее всего этот поворот виден при сравнении двух версий — «дореволюционной» и «пореволюционной» — его книги о языке и культуре XVIII века.

Версия, вышедшая в 1990 году, называлась «Культурные конфликты в истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века» и была основана на работах, написанных до 1985 года. Многие из этих работ проговаривались в спецкурсах, которые В.М. читал тогда на филфаке. Общий курс истории русского литературного языка нам читал в эти годы Б.А. Успенский, и мы из первых рук принимали и усваивали концепцию диглоссии. Тогда же Борис Андреевич и Виктор Маркович придумали и вдвоем вели семинар по истории русского языка и культуры. У тех, кто его выбрал, была счастливая возможность заниматься под этим своеобразным двойственным руководством и в присутствии постоянного диалога учителей. Поле напряжения между их взглядами, между жесткой концепцией диглоссии (у Б.А.) и мягкой ее версией, допускающей вариации письменного языка между полюсами церковнославянского и русского (у В.М.), было ощутимо. Но хотя мы воспитывались на теории диглоссии, она никогда не была для нас догмой, этому противился весь дух семинара. Делая доклад, мы могли рассчитывать на два — нередко различавшихся и дополнявших друг друга — мнения учителей. Нечего и говорить, насколько такое научное микросообщество было полезным и продуктивным для наших юношеских штудий.

Новый, расширенный и переработанный вариант монографии 1990 года — книга «Язык и культура в России XVIII века» — вышел в 1996 году. Именно здесь была предложена новая концепция истории русского языка и сформулированы взгляды, которые легли в основу последующих монографий В.М. — «Очерков исторической морфологии» (2004) и финальной «Истории языка

5 Плетнева А.А., Кравецкий А.Г. Церковнославянский язык: Для общеобразовательных учебных заведений гуманитарного профиля, светских и духовных гимназий, лицеев, воскресных школ и самообразования / Науч. ред. В.М. Живов. М.: Просвещение, 1996.

6 Живов В.М. Святость: Краткий словарь агиографических терминов. М.: Гнозис, 1994.

7 Живов В.М. Наука выживания и выживание науки // НЛЮ. 2005. № 74. С. 25.

русской письменности». Перемену читатель ощущает с первых же страниц — текст дышит совершенно другим воздухом, в котором невозможно не почувствовать интеллектуального освобождения. Контраст между бедной и тесной ротапринтной печатью книжки 1990 года и ухоженным изданием 1996-го визуально лишь подчеркивает это освобождение. Главный тон, взятый теперь, — от абстракций к реальным социальным механизмам культуры — позволял заново и проще сформулировать те идеи, которые продолжали сохранять для В.М. свою значимость (центральная роль Петровской эпохи, столкновение культурных парадигм как содержание истории культуры, место языка в этих столкновениях).

Содержательно новым по сравнению с версией 1990 года стало прежде всего понимание самой языковой ситуации средневековой Руси. С позиций сторонника идеи диглоссии (с коррекцией) В.М. переходит на позиции идеи единого письменного языка, обладающего рядом регистров. По-новому, соответственно, предстает и дальнейшее развитие языка и его стандартизация: В.М. рассматривает их теперь не как выбор между церковнославянским и русским (какое бы конкретное содержание в эти категории ни вкладывалось), но «как переосмысление и перегруппировку материала, восходящего к разным регистрам письменного языка предшествующего периода»⁸.

И вторая важная вещь: в анализе фокус смещается с прямых идеологических деклараций нормализаторов на сам процесс грамматической нормализации и языковой узус. Здесь уже чувствуется интерес В.М. к социальным ролям и стратегиям, хотя они так пока и не называются:

Отношение к культурному прошлому, понимание роли учености и социального престижа и в конечном счете воля к власти куда более отчетливо проявляются в спорах о какой-нибудь флексии или даже в употреблении того или иного морфологического варианта. Побудительные причины и диапазон выбора восстанавливаются здесь достаточно четко, тогда как другие аспекты языкового поведения, а тем более прямые разъяснения идеологической позиции такой ясностью не обладают⁹.

Пульсирующий ритм истории культуры и языка описывается теперь в терминах размежевания и синтеза культурных традиций, а картина языковой истории предстает не как движение во времени бинарной церковнославяно-русской конструкции, но как сложное динамическое взаимодействие множественных и многообразных возможностей узуса. Это хорошо видно и в структуре книги 1996 года, и в ее понятийном аппарате, в котором теперь появляются такие понятия, как *социальная стратификация, социокультурное размежевание, непонимание как результат социокультурного размежевания, механизм неадекватного перевода в культуре, семантическая реинтерпретация, преемственность в языке*. (Замечу в скобках, что различия в двух версиях книги любопытно наблюдать при сравнении предметно-именного указателя. В книгах В.М. указатель вообще имеет функцию подробного путеводаителя по системе понятий и позволяет отделить концептуально значимую для автора терминологию от незначимой. Именно поэтому В.М. придавал указателю большое значение и составлял его всегда сам.)

Диглоссия перестает быть костяком описания русской языковой истории и превращается в предмет критического обсуждения. Очевидно, что за деся-

⁸ Живов В.М. Язык и культура в России XVIII века. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. С. 10.

⁹ Там же.

тилетие, прошедшее со времени предыдущей книги, произошел важный сдвиг оптики и, соответственно, метаязыка. Манифестом и одновременно теоретическим обобщением этого рубежа стала статья «Расставаясь со структурализмом», написанная совместно с Аланом Тимберлейком¹⁰.

Ветхое обрушилось, и из убежища можно было выйти на волю. Делая этот шаг с поразительной отвагой, В.М. хлестко защищает свою позицию в полемике со структурным фундаментализмом. Прочь от тех, кто стремится «создать науку без жизни» и «оттянуть» ее «от человека, от его времени и бытия». Именно так, не больше и не меньше, В.М. формулирует грех структурализма. Более тяжкое для гуманитарной мысли обвинение трудно вообразить. Однако речь идет не об отвержении целого направления на корню, а о том, чтобы не оборачиваться: «В науке точно так же нет смысла стоять с вывернутой шеей, как и в истории»¹¹.

Теперь в пространстве истории языка В.М. пробует разглядеть не только архитектуру и планировку, но и населяющих эту архитектуру людей с их голосами и — в его терминологии — коммуникативными стратегиями. В этом ожившем пространстве ему интересна прежде всего вариативность — не просто как непреходящее внутреннее свойство языковой реальности, но прежде всего как факт языковой деятельности, побуждающий человека к выбору. Именно поэтому ему интересны правленные тексты — как наглядный источник наблюдений над механизмами языкового сознания. Свой первопроходческий анализ «гибридного» церковнославянского он сделал в 80-е годы на материале обнаруженной им в архиве правленной рукописи «Географии генеральной» начала XVIII века. Но и когда в самое последнее время он готовил к изданию Стихирарь XII века (эту работу, начатую совместно с И. Бегунц, он не успел завершить), ему хотелось откомментировать прежде всего любопытную языковую правку в этой рукописи.

Революция в языке — для В.М. тема столько же научная, сколько и биографическая. Еще ползут языки неостывшей лавы, но ему не страшно первым попытаться понять, что происходит. Статью о книге А.М. Селищева «Язык и революция» В.М. начинает фразой, которая, по сути, заключает в себе центральную идею его работ после поворота 90-х: «Для того чтобы понять, что происходит с языком в эпохи исторических катаклизмов, нужно рассмотреть его не как абстрактную систему (которую обычно и изучают лингвисты), но, скорее, как социальный инструмент»¹². Критически осмысляя труд Селищева — лучшее, что написано о языке революции 1917 года, — В.М. демонстрирует общность социально-культурных механизмов трех революционных эпох: времени Петра Великого, эпохи большевистской революции и времени конца 1980-х — начала 1990-х годов. И способы разрушения, и способы реставрации оказываются типологически сходными. Понимание этой динамики позволило ему занять в вопросах нынешней языковой нормы очень взвешенную пози-

10 Живов В.М., Тимберлейк А. Расставаясь со структурализмом: (Тезисы для дискуссии) // Вопросы языкознания. 1997. № 3. С. 3—14.

11 См.: Живов В.М. Воплощенная укоризна, или О благородном убожестве // Неприкосновенный запас. 2000. № 2. С. 49.

12 Живов В. Язык и революция: Размышления над старой книгой А.М. Селищева «Язык революционной эпохи» и над процессами, которые Селищев не успел описать // Отечественные записки. 2005. № 2 (23). С. 175.

цию: она заключена между «Давайте стараться быть консервативными, насколько сил хватит» и «Пусть в обществе царит многоязычие»¹³.

Связность и связи — из числа важнейших «человеколюбивых ценностей»¹⁴ в подходе В.М. к истории языка. Уже в книге 2004 года «снимается» оппозиция между «живым» языком, на котором говорят, и «искусственным» языком, на котором пишут. Разрешается давнее и мучительное и для науки, и для преподавательской практики разделение единой истории русского языка на две дисциплины — «историческую грамматику» и «историю литературного языка». Поэтому термин «история языка письменности» для В.М. принципиально значим. Проницаемой становится грань между языковыми ситуациями Древней Руси и современной России. Речь идет не о том, что между ними нет никакой разницы, а о том, что соотношение между письменным языком и устной речью в них, по сути, одно и то же. Возникает образ цельного живого языка, который на протяжении десяти столетий сохраняет преемственность в развитии.

Говорят: «труженик науки», но для В.М. слово *труженик* — тяжелое и медленное — малопригодно. У него было слово *работа*, и он — в словах и жестах всегда предельно естественный — мог прямо, не жеманясь, сказать: «Много работаю». И все же зная, сколько он был на людях и сколь щедр он был на общение, невозможно постичь, в какие спрессованные часы каких ночей он вязал свой «чулок духа» (В.М. любил это выражение Ницше) — писал книги, статьи, рецензии, обзоры, отзывы, рекомендации, в Беркли и в Москве, по-английски и по-русски. О чтении умолчу. В последние годы его рассказы о своих занятиях приобрели рефрен «Осталось ведь мало времени». Но он не подозревал, что *так* мало.

Его жизненный урок — то, что назначено и хочется сделать, — виделся ему очень ясно. Возможно, ему было бы не успеть так много, если бы не счастливый дар мгновенной смычки мысли и слова. Как-то в 80-е В.М. писал с немецким коллегой совместную статью. На стадии порождения текста обязанности соавторов были распределены примерно таким образом: В.М. формулировал, а коллега переводил на немецкий язык. Как рассказывал потом соавтор, В.М. порождал текст в таком чистом, готовом виде, что во время этих сеансов возникало страшноватое ощущение присутствия при откровении, ну и восхищение, конечно.

Его наука была живой во всех смыслах — «веселой» («Die fröhliche Wissenschaft», по выражению Ницше). Он ценил тот «прожиточный воздух», которым живы дружеский круг и научная среда, и сам был мощнейшим генератором кислорода. В 2011 году В.М. вместе с А. Молдованом придумали раз в два года собираться летом в Новгороде на небольшие конференции по древнерусской письменности. набросок программы был плетением из трех слов: *заседания, прогулки, ужин*. В.М. был душой этого удивительного симпозиально-перипатетического праздника, который мы справили лишь однажды. Вот он, как всегда, плотным текстом, скоро, энергично говорит о Новгородском белом клобуке; вот его небольшая легкая фигурка, в светлой шляпе, с палкой — в Юрьеве; а вот он оглушительно зовет официантку «Девушка!» и верховодит веселым пиром в «Усадьбе».

13 Живов В.М. Будем консерваторами.

14 Живов В.М. Апология Герцена в феноменологическом исполнении: («Философское мировоззрение Герцена» Г.Г. Шпета) // НЛЮ. 2005. № 71. С. 166.

За большим столом-сороконожкой в доме на Казакова В.М. смотрелся *аввой* — сказала бы *патриархом*, если бы это слово не было таким неподвижным и старческим. В незабываемый сочельник Рождества 2011 года — в этом доме традиционно 24-го декабря — за столом сидели в два ряда. И когда зажгли свечи и по скайпу присоединилась Лина из Венеции — В.М. читал Евангелие и потом «Рождественскую звезду» Пастернака (Евгений Борисович, для которого это Рождество станет последним, сидел напротив). И в простом негромком чтении В.М. оба эти текста были как главы из книги Бытия.

От этой сцены взгляд переходит в самое начало — на то заседание университетского семинара, на котором происходило распределение нас между двумя научными руководителями. Они сидели за первыми партами, как за режиссерскими столами, лицом к нам — Борис Андреевич и Виктор Маркович, — а мы по очереди называли выбранную из списка тему. И вот очередь дошла до меня: «Французско-русское двуязычие в переписке первой трети XIX века» (это в переводе на современный русский — тогда это было что-то вроде «Смена кодов...»). «А это ко мне!» — выкликнул В.М., и я пошла на его улыбку и смеющиеся глаза.

Декабрь 2013 года

А л е к с е й Г и п п и у с

* * *

«Знаете, что это? — спросил у меня Виктор Маркович, вручая «Разыскания по истории русской культуры» и показывая радужную обложку. — Цветоделение ангельского крыла!» На последней странице обложки сам В.М., с лукавым огнем в глазах, еще чернобородый, снят на фоне батареи бутылок белого и красного в итальянской траттории. Он любил контрасты и сочетал цвета в одежде с той же смелостью, с какой сталкивал языковые пласты в собственных текстах, подпуская в ученый дискурс образы и словечки бытового языка. В нем вообще сочеталось трудносовместимое: необыкновенный вкус к жизни во всех ее проявлениях — и аскетическая самоотрешенность в работе; полемический задор, способность разнести в пух не понравившееся сочинение — и удивительная благожелательность, доброта в отношении к коллегам. Обаяние его личности и интеллекта было безгранично. В науке В.М. был в первую очередь теоретиком, ценил «теоретические мозги» и о чем бы ни писал — за выразительными деталями всегда стояла концепция (слово «концептуализировать» и его производные недаром столь часты в его языке).

Потребность в теории, которая могла бы описать динамику языковых и культурных процессов, не сводя ее к простым схемам, привела В.М. к разрыву со структурализмом, совершённом не исподволь, но с полной, демонстративной открытостью, иногда казавшейся даже нарочитой, но бывшей лишь следствием глубины пересмотра собственных взглядов. Осмысляя с этих новых теоретических позиций историю русского языка в ее письменной форме, В.М. впервые поставил во главу угла не оппозицию русского и церковнославянского, но преемственность лингвистических навыков в рамках книжного и некнижного регистров письменного языка и их более частных подразделений. Акцент на языковой деятельности, механизмах усвоения и воспроизводства форм письменной речи делал самого В.М. преемником и продолжателем великого Н.Н. Дурново, чьи принципы исследования древнерусской орфографии были развиты им с замечательной глубиной и блеском. «Въ плѣну у ангеловъ, на дикомъ брегѣ- ахъ!» — кто еще мог так озаглавить статью о рефлексгах *tert и *teŕt в русском церковнославянском правописании? Совершенство, с которым он писал на самые разные темы, осваивая новые для себя области, не могло не восхищать, как и его свобода в выборе инструментария, управлявшемся острой научной интуицией и здравым смыслом.

Делая очень живую науку, В.М. с мудростью патриарха строил свой быт, направляя по волнам житейского моря прекрасный дом-ковчег, где всегда можно было застать двух-трех друзей и родственников и где русская культура жила и звучала всеми ее регистрами. Он был самым молодым из моих учителей, и хорошо было думать о том, что уж с ним-то впереди еще долгие годы увлекательного и радостного общения. Судьба решила иначе. Светлая память!

Ольга Матич

ПАМЯТЬ О ПОСЛЕДНИХ ДНЯХ ВИТИ ЖИВОВА В БЕРКЛИ

Витя Живов обладал необыкновенно обширным диапазоном интеллектуальных интересов, который у него сочетался с поведенческой артистичностью. Друзья и коллеги в Беркли любили в нем эту широту. Как заметил Сергей Иванов, Витя поразительным образом совмещал интеллектуальную серьезность и научную плодотворность с полемическим задором и дурашливостью¹. Он с легкостью переходил с интеллектуального обсуждения к трагестированию серьезного.

То, что оказалось неизлечимым раком легких, проявилось первоначально в болях в позвоночнике вскоре после его очередного приезда в Беркли, где Витя каждый весенний семестр преподавал на славянской кафедре в Калифорнийском университете в течение последних двадцати лет с редкими перерывами на академический отпуск. Он читал аспирантские курсы по истории русского языка и православия, по литературе и культуре XVIII века, а для студентов — древнюю русскую культуру и культуру периода ранней модернизации.

Мы с нетерпением ожидали приезда Вити и его жены Маши Поливановой, потому что с ними наша русско-американская «задруга» вела более оживленную и насыщенную жизнь. Здесь в начале февраля Витя и Юра Слезкин по обыкновению совместно и весело праздновали свои дни рождения, неизменно кончавшиеся танцами за полночь. Друзья Вити хорошо помнят, как он любил танцевать, но в феврале боли не позволили ему как следует отдать дань танцу. Витю это расстроило, и хотя он не жаловался — выдали выразительные глаза, которые после его смерти я так часто вспоминаю. Помнится, как много лет тому назад, уходя с вечеринки у Александра Осипова в Лос-Анджелесе, мы с ним весело танцевали в лифте под вальс «На сопках Маньчжурии», который нам напевала Маша.

Вите в этом году исполнилось 68 лет. Он мне потом говорил, что его отец умер именно в этом возрасте. Витя очень не хотел умирать и надеялся на лечение, чтобы продлить жизнь, торопился закончить последнюю редактуру монографии по истории языка русской письменности, над которой он работал почти двадцать лет. Через месяц после того, как стал ясен диагноз, Витя умер. Два тома о русской письменности закончены, но ему не удалось написать книгу о понятиях спасения и грешности в русской религиозной культуре, о которой с таким увлечением он рассказывал еще в феврале! Стимулом к этому проекту, как он сам говорил, отчасти послужил аспирантский курс по истории православия, который Витя начал читать в Беркли лет десять тому назад. Сначала он отказывался, не считая себя специалистом в этой области; но сделал себя таковым.

Последние недели жизни Витя настоятельно продолжал преподавать. Свою последнюю лекцию о петровской реформе православной церкви со всеми сопровождавшими ее всешутейшими действиями он прочитал за неделю до смерти на одной силе воли. На следующий день его вторично госпитализировали и надели кислородную маску, которую уже не снимали до конца.

1 *Иванов С. Виктор Маркович Живов (1945–2013) // polit.ru/article/2013/04/19/in_memoriam* (дата обращения: 17.06.2013).



Лето 2006 года, Великий Новгород.
Фото Елены Гришиной

Через день наступил кризис. Врачи сообщили ему, что смерть может наступить через несколько часов. Витя провел их исключительно мужественно и достойно, как только можно пожелать себе и близким. Задыхаясь, с высокой температурой и под кислородной маской, он пел «Христос воскрес из мертвых» во время соборования вместе со священником. Со старшей дочерью Марготой в Риме и с сыном Степой в Москве Витя прощался по скайпу. Этот последний разговор с сыном оставил неизгладимый отпечаток в памяти его друга юности, Гриши Фрейдина. Ему пришлось держать видеотелефон, по которому отец и сын прощались друг с другом. Прощаясь с семьей, Витя горил об ответственности и радости в жизни и их соотношении. В тот же день он сказал мне, что начал готовиться к смерти еще три года назад, писал об этом стихи, а потом бросил готовиться, добавив: «Я не готов, но выбора нет». То же самое Витя сказал после соборования, но в шутовском ключе: «Вот всю жизнь готовишься, готовишься, а никак не подготовишься».

Последние дни в больнице он часто молился вслух, иногда повторяя по многу раз: «Господи помилуй». Пытался креститься, но сил не хватало. Временами в полусознании разводил руками, как бы не понимая, почему умирает, или же, наоборот, принимая неизбежность смерти. Думаю, и то и другое.

Хотя наши научные интересы сильно различались, Витя был моим любимым собеседником. Он обладал исторической широтой знаний и необыкновенно живым умом. Наши разговоры о различиях между концепциями, выработанными в прошлом, и категориями, которые были выстроены в последующие эпохи, включая наше время, мне запомнились в особенности. У Вити было изощренное историческое сознание, и эти различия он так тонко понимал.

Во время нашей совместной поездки на Сицилию его заинтересовало чередование и просвечивание исторических пластов на ее небольшом островном пространстве. Взяв напрокат машину, мы с Живовыми объехали практически весь остров и провели десять замечательных дней. Витю пленил

насыщенный сицилийский палимпсест с наслоениями древнегреческого, римского, византийского, арабского и собственного барочного периодов. Палермо его заворожил — этот подгнивающий город смерти в барочном и декадентском смысле, где прекрасные архитектурные строения сосуществуют буквально рядом с разрухой современной жизни в разваливающихся старинных домах. Какой материал для барокко! Ведь этот стиль, среди всего прочего, объединяет противоположности, в первую очередь жизнь и смерть.

Ходить с Витей в музей — этот искусственно скроенный палимпсест — и на выставки живописи было незабываемым удовольствием. В этом году в Сан-Франциско мы успели сходить на выставку голландцев и вновь насладиться «Девушкой с жемчужной сережкой» Вермеера. При этом Витя был открыт к другому. Помнится, что в том же Сан-Франциско на ретроспективной выставке классика поп-арта Роя Лихтенштейна, с которым он раньше не был знаком, его в особенности заинтересовал интертекстуальный триптих Руанского собора, выполненный в характерной для этого художника точечной манере. После выставки мы долго говорили об интертекстуальности в постмодернизме, включая поп-арт, о котором он раньше не задумывался.

Витя мог меняться и превращать «чужое» в свое. Этим отличалась и его жизнь в науке. Он всегда был готов увидеть то, что лежит на обочине, а не только на протоптанном пути. Проявлялось это свойство и в научном быту, и думается, что в соединении с его внутренней молоджавостью оно привлекало к нему людей молодого поколения, к которым он и сам инстинктивно тянулся. К тому же они, как и мы все, любили ту артистичную иронию, которую он иногда направлял на благопристойное поведение. Напрашивается пример знакомого его друзьям кукареканья. На мой вызов Витя кукарекнул именно в благопристойном ресторане на берегу Тихого океана — перформанс, не говоря о бороде, произвел должное впечатление. Посетители, скорее всего, приняли его за немножко чокнутого стареющего хиппи, решившего поэпатировать местную буржуазию. Витю я не только любила, но он мне нравился — в том числе за то, что был другим.

Витя хотел умереть в Москве. Уже в полусознании он спрашивал, находится ли в Риме, его любимом городе, где за границей он чаще всего бывал (кроме Беркли), или на Крите, где они с Машей были в октябре. Быть может, он не называл Москву потому, что готовился в путешествие в совсем другую заграницу, за другой рубеж.

Витино русское (само)сознание было многослойным. Здесь была любовь и к русским древностям, в том числе к иконописи и архитектуре, и, конечно, к письменности, а также к русскому XVIII веку, с которым была глубоко связана его научная деятельность. Склонный к парадоксам, он иногда называл себя «русским националистом» (но не в его сегодняшнем понимании), добавляя, что он «любит народ» — этот неизбывный «другой» в сознании русской интеллигенции. Говорилось это с иронией и шутливой улыбкой, но и с долей «русофильского» пафоса. Когда заходил разговор о «выборе веры», он отдавал предпочтение православию над католицизмом за его милосердие и необусловленность жесткими правилами; но одновременно с этим, как русский «западник», видел и роковые недостатки, истоки которых находил в неудавшейся «дисциплинарной революции» в России Нового времени, ссылаясь на Макса Вебера и Мишеля Фуко. Любил Ельцина, но не любил Путина за то, что тот подорвал процесс «самодисциплинирования» российского общества, рост общественных ассоциаций и развитие правового государства — процессы, которые возобновились после падения коммунизма.



Лето 2006 года, Великий Новгород.
Фото Елены Гришиной

Кафедральная жизнь во время последних недель Витиной болезни приостановилась. Каждому из нас как будто была отведена своя роль — одни помогали его младшей дочери Лине в качестве посредников в разговорах с врачами и обслуживающим персоналом, другие нянчились с ее замечательным младенцем, когда она и Маша находились у Вити. Более молодые ночевали последние дни в больнице, в соседней комнате, — среди них был бывший аспирант Вити, приехавший из Парижа, чтобы провести с ним два дня.

Может быть, главным было то, что он никогда не оставался один. Витины коллеги и друзья из других университетов и бывшие берклийские аспиранты, а теперь молодые профессора, навещали его в больнице и присутствовали на отпевании в местной русской церкви.

Наша берклийская «задруга» и моя московская семья осиротели...

Вернер Лефельдт

МОЯ ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С ВИКТОРОМ МАРКОВИЧЕМ

Моя первая встреча с Виктором Марковичем состоялась — по свидетельству моего дневника — 24 августа 1972 года. Случилась она в день моего отъезда из Москвы в Берлин, к концу моего первого пребывания в тогдашнем Советском Союзе. Вернувшись домой, я в своем дневнике попытался подвести итоги этого пребывания, которое длилось четыре недели и в рамках которого я участвовал в семинаре, организованном Московским университетом для иностранных русистов. Последняя фраза моего дневникового текста в переводе на русский язык гласит: «Важно для меня прежде всего знакомство с Ю.М. Лекомцевым, М.И. Лекомцевой, Б.А. Успенским и В.М. Живовым».

Почему знакомство с названными учеными, в том числе с Виктором Марковичем, числилось среди значимых результатов, важных «плодов» моего первого пребывания на территории России? Чтобы понять это, нужно учитывать общий фон, на котором произошло знакомство. В рамках этого короткого воспоминания нет ни возможности, ни смысла характеризовать сей фон хотя бы приблизительно. Приведу только одно событие, чтобы дать читателю понять, что я имею в виду.

16 августа к вечеру я посетил Институт русского языка, чтобы познакомиться с В.В. Шеворошкиным — автором ряда лингвистических работ, которые я очень ценил и по которым у меня были вопросы. К моему сожалению, в здании института к этому времени я не встретил почти никого, за единственным исключением: в одном кабинете сидела Г.А. Барина, принявшая меня очень любезно. Во время нашей беседы о научной работе речь зашла и о Шеворошкине, отсутствовавшем в тот день в своем кабинете. Вдруг в комнату вошла уборщица. Моя собеседница встрепелась в испуге и без промедления покинула вместе со мной здание института. Я, конечно, не понял причины этого странного для меня поведения. На мой вопрос: «Почему мы не могли остаться в вашем кабинете и продолжить там наш разговор?» — Барина ответила, что сотрудникам института строго запрещено разговаривать с иностранными посетителями без присутствия третьего лица. Нарушив этот запрет одним фактом беседы со мной, она опасалась, что уборщица, возможно, донесет на нее. Надо иметь в виду, что в тот период директором института был пресловутый Ф.П. Филин, бывший маррист, управлявший «железной рукой» вверенным ему заведением и его сотрудниками. На следующий день я случайно узнал, что Барина была супругой Шеворошкина, но сама она об этом умолчала...

Моя первая встреча с Виктором Марковичем состоялась на этом фоне общего страха и осталась в моей памяти именно потому, что Виктор Маркович ничего и никого не боялся. Он был одним из тех весьма немногочисленных ученых — кроме него, следует упомянуть Ю.М. Лекомцева, М.И. Лекомцеву и Б.А. Успенского, — которые уже тогда преодолели барьер общего страха и не стеснялись встречаться и разговаривать с западными посетителями.

До нашей встречи я не имел никакого представления о молодом ученом В.М. Живове. Мы познакомились случайно. 24 августа я хотел встретиться с Успенским, автором книги «Структурная типология языков», которую я

прочитал незадолго до своей поездки в Москву и по содержанию которой у меня был ряд вопросов. Успенский в это время работал в фонетической лаборатории, точное название которой я забыл. Она располагалась в здании Московского университета на Манежной площади. Именно там я и «натолкнулся» на Виктора Марковича, который был сотрудником Успенского. Я помню, что мы с ним несколько часов гуляли по Москве и разговаривали о самых разных предметах. Сегодня я, конечно, не мог бы передать точное содержание нашего разговора. Однако в моей памяти неизгладимо остались безбоязненность и неустрашимость Виктора Марковича, беседовавшего со всей откровенностью со мной, западным «подозрительным» лицом, о самых «щекотливых» предметах, в том числе и об атмосфере недоверчивости и общего страха, столь характерной для тогдашней ситуации в советской науке. Для себя лично он не видел никаких шансов для успешной научной работы в рамках существующей политической и административной системы.

Так началось наше знакомство с Виктором Марковичем, становившееся со временем все интенсивнее и впоследствии переросшее в настоящую дружбу, которая явилась для меня источником духовного обогащения. Эта связь длилась вплоть до преждевременного ухода из жизни этого замечательного ученого и замечательного человека.

Подобаётъ память ёмоу сътворити.

Д м и т р и й С и ч и н а в а

ЖИВОВ ВО ВСЕМ

Для нашего поколения Живов был классиком, чьи статьи конспектируют на младших курсах, и вместе с тем для тех, кто его знал, — человеком очень дорогим, симпатичным и говорившим с каждым из нас как с равным себе. Вот чем он был меньше всего — так это «огромным памятником себе», в который у многих есть соблазн превратиться. Он был из тех, от одного имени которых теплеет на душе, — таким был еще Михаил Гаспаров. Потрясающе фотогеничный — Виктор Маркович просто не мог получиться на снимке неудачно, ни в юности, ни в последние годы. А про его юмор, озорство, эпатаж на грани хулиганства уже многие говорили. Но внешнее очарование — это лишь часть такого общего свойства Живова, как умение вкладывать себя и свою личность во все, к чему имеешь отношение.

У него вообще нет проходных текстов, как и сочинений, которые мог бы написать не Живов, при том что это вполне серьезная научная проза, соответствующая всем критериям точности и доказательности. Если взглянуть на его рецензии, обзоры книг, мелкие заметки — в них все время заметно личное начало, его пристрастия, симпатия, сарказм. Он сумел сохранить в себе ощущение точного слова, утратившееся за десятилетия новояза, «проблем метода» и «к вопросу о»; он умел писать по-русски прямыми словами, как Соболевский или Трубецкой. Если он хотел сказать, что некоторый пассаж в рецензируемой работе производит «ощущение безумия» (это в одной из последних публикаций), то так и писал, а не говорил о «работе, которая заслуживает, несмотря на отдельные недостатки». В его лингвистических работах, там, где речь идет о творцах и участниках истории русского языка, мы их чувствуем как живых, одушевленных его теплотой, — и Смотрицкого, и Петра, и Ломоносова, и святых, и «кошунников», и «греховодников».

Как я уже писал в журнале «Лехаим» (2013. № 6 (254)), он все время менялся, искал истину и искал себя; публикуемая в этом номере «НЛО» статья С.А. Иванова и А.М. Молдована это показывает очень наглядно. Когда-то он был правоверным структуралистом, потом стал автором одной из самых влиятельных статей об ограниченности этой парадигмы. Не теряя навыков точного анализа, не уходя от науки, не подменяя ее перестроенной и нынешней «духовностью» невысокой пробы, он стал писать не только о Букве, но и о Духе. Не всегда он был и таким открытым — это знают помнящие его люди старшего поколения. Но талант и сила были с ним всегда.

Смерть делает явными и зримыми наши долги перед ушедшими. Надо обязательно собрать его работы, не входившие в прижизненные сборники, издать двухтомный труд по истории литературного языка, над которым он работал в последние дни, непременно дойдет дело и до писем этого замечательного человека.

Он хотел вернуться в Россию в пасхальную ночь и петь стихиры в самолете. Пасхальные песнопения звучали над его могилой в Переделкине. Цветов было много, из них выложили большой крест и остатки отнесли Пастернаку.

«Кого хороните? — Живаго».

В. М. Ж и в о в

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ¹

1971

Типология сочетаний согласных в русских говорах // Вопросы языкознания. 1971. № 2. С. 69–82.

1973

«Август Четырнадцатого» и русское историческое самосознание // *Август Четырнадцатого* читают на Родине: Сборник статей и отзывов. Париж, 1973. С. 83–99. [Под псевдонимом И. Тропинин.]

Сакральные образы в русской поэзии // Сборник статей по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1973. С. 76–85.

1974

Опыт формального членения новеллы // Материалы Всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим системам I (5). Тарту, 1974. С. 201–209.

1977

Centre—Periphery Opposition and Language Universals // *Linguistics*. 1977. № 196. P. 5–24. [В соавторстве с Б.А. Успенским.]

1980

Очерки по синтагматической фонологии: Признак звонкости. М., 1980. 256 с.

1981

Кошунственная поэзия в системе русской культуры конца XVIII — начала XIX века // Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 546. Тарту, 1981. С. 56–91 (= Труды по знаковым системам. Вып. 13: Семиотика культуры).

Описание языка и языковые универсалии // Теоретические и прикладные аспекты вычислительной лингвистики. М., 1981. С. 3–28. [В соавторстве с Б.А. Успенским.]

1982

Влияние и система культуры: Проблема традиций в иконоборческих спорах // *Finitis duodecim lustris*: Сборник статей к 60-летию проф. Ю.М. Лотмана. Таллин, 1982. С. 66–69.

«Мистагогия» Максима Исповедника и развитие византийской теории образа // Художественный язык средневековья. М., 1982. С. 108–127.

1986

Grammatica sub specie theologiae: Претеритные формы глагола *быти* в русском языковом сознании XVI–XVIII веков // *Russian Linguistics*. 1986. Vol. 10. № 3. С. 259–279. [В соавторстве с Б.А. Успенским.]

Славянские грамматические сочинения как лингвистический источник: О книге: D.S. Worth. *The Origins of Russian Grammar: Notes on the State of Russian Philology before the Advent of Printed Grammars*. Columbus, 1983 // *Russian Linguistics*. 1986. Vol. 10. № 1. P. 73–113.

1 В библиографию включены, в частности, все работы, упомянутые в статье С.А. Иванова и А.М. Молдована (кроме диссертаций и несохранившегося перевода Мейендорфа). Для периода до 2006 года мы использовали также библиографию из книги: Вереница литер: Сборник статей к 60-летию В.М. Живова. М., 2006. С. 607–623. — *Сост.*

In memoriam

1987

Вехи русской духовности: вершины и надрывы // Символ. Вып. 20. Париж, 1988. С. 10–17.

Проблемы формирования русского извода церковнославянского языка на начальном этапе // Вопросы языкознания. 1987. № 1. С. 46–65.

Царь и Бог: Семиотические аспекты сакрализации монарха в России // Языки культуры и проблема переводимости. М., 1987. С. 47–153. [В соавторстве с Б.А. Успенским.]

1988

Иконоборческие споры и мнемотехническая традиция античной школы // Семиотика культуры: Тезисы докладов Всесоюзной школы-семинара по семиотике культуры. 8–18 сентября 1988 г., Архангельск. Архангельск, 1988. С. 76–78.

История русского права как лингво-семиотическая проблема // Semiotics and the History of Culture: In Honor of Jury Lotman. Columbus, Ohio, 1988. С. 46–128.

Логика как проблема истории. I–II // Семиотика культуры: Тезисы докладов Всесоюзной школы-семинара по семиотике культуры. 8–18 сентября 1988 г., Архангельск. Архангельск, 1988. С. 13–18.

1990

Культурные конфликты в истории русского литературного языка XVIII – начала XIX века. М., 1990. 272 с.

1992

Космологические утопии в восприятии большевистской революции и антикосмологические мотивы в русской поэзии 1920–1930-х годов: («Стихи о Неизвестном солдате» О. Мандельштама) // Сборник статей к 70-летию проф. Ю.М. Лотмана. Тарту, 1992. С. 411–434.

О сомнительном и недостоверном в историософии Н.А. Бердяева // Новый мир. 1992. № 10. С. 216–221.

1994

Святость: Краткий словарь агнографических терминов. М., 1994. 112 с.

1995

Особенности рецепции византийской культуры в Древней Руси // Ricerche slavistiche. 1995. Vol. XLII. P. 3–48 (= Cultura letteraria medievale slava fra Bizanzio e Roma: Prospettive di ricerca. Atti del Convegno di Castel Ivano, 24–25 settembre 1993).

1996

Метаморфозы античного язычества в истории русской культуры XVII–XVIII вв. // Из истории русской культуры. М., 1996. Т. 4: (XVIII – начало XIX века). С. 449–536. [В соавторстве с Б.А. Успенским.]

Палатальные сонорные у восточных славян: Данные рукописей и историческая фонетика // Русистика. Славистика. Индоевропеистика: Сборник к 60-летию А.А. Зализняка. М., 1996. С. 178–202.

Язык и культура в России XVIII века. М., 1996. 591 с.

1997

Расставаясь со структурализмом: (Тезисы для дискуссии) // Вопросы языкознания. 1997. № 3. С. 3–14. [В соавторстве с А. Тимберлейком.]

1998

Маргинальная культура в России и рождение интеллигенции // Полудорогов: К 70-летию Владимира Николаевича Топорова. М., 1998. С. 955–975.

In memoriam

1999

Иван Сусанин и Петр Великий: О константах и переменных в составе исторических персонажей // НЛО. 1999. № 38. С. 51–65.

Первый литературный язык славян // Ricerche slavistiche. 1998–1999. Vol. XLV–XLVI. P. 99–136.

2000

Воплощенная укоризна, или О благородном убожестве // Неприкосновенный запас. 2000. № 2 (10). С. 46–51.

Н.Н. Дурново и его идеи в области славянского исторического языкознания // Дурново Н.Н. Избранные работы по истории русского языка. М., 2000. С. VII–XXXVI.

2001

Восемнадцатый век в работах Г.А. Гуковского, не загубленных советским хроносом // Гуковский Г.А. Ранние работы по истории русской литературы XVIII века. М., 2001. С. 7–35.

2002

Разыскания в области истории и предыстории русской культуры: Сборник статей. М., 2002. 760 с.

2003

ХОу-ть-И: Об идеосинкратических факторах при выборе морфологических вариантов // Rusistika • Slavistika • Lingvistika: Festschrift für Werner Lehfeldt zum 60. Geburtstag / Hg. Sebastian Kempgen, Ulrich Schweier und Tilman Berger. München, 2003. S. 320–329. (= Die Welt der Slaven: Sammelbände. Bd. 19).

2004

Из церковной истории времен Петра Великого: Исследования и материалы. М., 2004. 360 с.

Очерки исторической морфологии русского языка XVII–XVIII веков. М., 2004. 655 с.

Улики подлинности и улики поддельности: По поводу кн.: Edward L. Keenan. Josef Dobrovsky and the Origins of the Igor's Tale. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2003 // Русский язык в научном освещении. 2004. № 8. С. 238–265.

2005

Апология Герцена в феноменологическом исполнении: («Философское мировоззрение Герцена» Г.Г. Шпета) // НЛО. 2005. № 71. С. 166–174.

Наука выживания и выживание науки // НЛО. 2005. № 74. С. 25–33.

Ранняя восточнославянская агиография и проблема жанра в древнерусской литературе // Язык. Личность. Текст: Сборник статей к 70-летию Т.М. Николаевой. М., 2005. С. 720–734.

Язык и революция: Размышления над старой книгой А.М. Селищева «Язык революционной эпохи» и над процессами, которые Селищев не успел описать // Отечественные записки. 2005. № 2. С. 175–200.

2006

Восточнославянское правописание XI–XIII века. М., 2006.

Из истории слов: грѣховодник // Iter philologicum: Festschrift für Helmut Keipert zum 65. Geburtstag / Hg. D. Bunčić und N. Trunte. München, 2006. S. 165–180 (= Die Welt der Slaven. Sammelbände. Bd. 28).

2008

Император Траян, девица Фальконилла и провонявший монах: их приключения в России XVIII века // Факты и знаки: Исследования по семиотике истории. М., 2008. Вып. 1. С. 245–268.

128)

In memoriam

Покаянная дисциплина и индивидуальное благочестие в истории русского православия // Дружба: ее формы, испытания и дары: Успенские чтения. Киев, 2008. С. 303–343.

Юридические кодексы и режим интерпретации // Динамические модели: Сборник статей в честь Е.В. Падучевой. М., 2008. С. 309–328.

2009

Дисциплинарная революция и борьба с суеверием в России XVIII века: Провалы и их последствия // Антропология революции: Сборник статей по материалам XVI Банных чтений журнала «Новое литературное обозрение». М., 2009. С. 327–360.

Московско-тартуская семиотика: ее достижения и ее ограничения // НЛЮ. 2009. № 98. С. 11–26.

2010

Между раем и адом: кто и зачем оказывался там в Московской Руси XVI века // Факты и знаки: Исследования по семиотике истории. М., 2010. Вып. 2. С. 80–110.

Несколько дополнительных замечок к статье Б.А. Успенского «Право и религия в Московской Руси» // Россика / Русистика / Россиеведение. М., 2010. Кн. 1: Язык / История / Культура – 2010. С. 287–302.

2011

Видения света и проблемы русского средневекового исихазма // Огонь и свет в сакральном пространстве: Материалы международного симпозиума. М., 2011. С. 37–41.

Составитель Дмитрий Сичинава